

Болеслав Лесмян

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

пер. с польск. С.Петрова

НЕЗНАНИЕ

Не знаешь, как вручен и обречен тебе я,
когда твоя рука, к которой льнет мой рок,
на раскаленный лоб, от духоты слабея,
накладывает вскользь ладонью холодок.

Не знаешь, как во мне и морочно и странно,
как телом запросто вошла в мечту мою,
когда ты воду пьешь, подняв поверх стакана
огромные глаза, а я тебя пою.

Когда же ночь тебя, как смертный путь, застанет
и шторы мглистые стекают вдоль окон,
не знаешь, что векам в твоём окне конца нет,
а ты торонишься и прячешь груди в сон.

ж

ж ж

Встретясь я с тобой в первый раз опять,
но в ином лесу и на иной поляне,
может быть, иначе лес, за пядью пядь,
вел бы нас и длился бы в тумане.

Может быть, другая стлалась бы трава
и рвались не те цветы впервые,
может быть, от дрожи с глухих губ слова
сорвались какие-то другие.

Может быть, душой стали б утонать,
а в каскаде роз тонули губы,
встретясь я с тобой в первый раз опять
не на той поляне и не в том лесу бы...

ВЕЧЕРОМ

Сумрак густеет и дышит холодом в огород,
кажется, — даль заблудилась, тихо стоит у ворот...
Ветер метнулся с крыши в самую глубь гущины —
Петь он во мне ль затеял? И сквозь напев видны
бор и восход полумесяца.

Глянул на двор полумесяц из-за вершин берез
и возникает колодец да одинокий воз,
а у колес меж спицами, сбившись с дороги спит
дух в промежутках светлых и скоро тени раки
в темень единую смешатся.

Окна на пруд загляделись, падает блеск из них
и, потихоньку тлея, в дебрях ползет травяных.
Вереск в руке моей вянет, странно вымолвить вслух
имя свое, если скоро лес и росящийся дуг
в темень единую смешатся.

Тень моя шла по ниве в раззолоченный день,
ночью по стенам пустынным бродит эта же тень.
В стеклах, являсь ниоткуда, — уйма мохнатой тьмы.
Пруд серебрится и видит иначе, нежели мы,
бор и восход полумесяца.

РУЧЕЙ

Со скорбью скорбь, а мрак со мраком вровень стали
На позлащение досугу не хватило.
И берега ручей лесные опростал
и в вечность всем собой бежал, что было силы

до бесконечности, до тех пустынных мест,
где держится она на нежных вздохах мяты
без веры в звезды, и ударился о крест
текучей грудью, и повис на нем распятый.

Зачем же, Сонный Вал, тебе ночлег такой?
Прегордая Вода, к чему твои мученья?
За тех, кто пережил и дно, и берег свой,
за тех, кому уже отсюда нет теченья.

ЛЮБОВНИКИ

Когда девица пришла из дали,
дрожь налетела со всех сторон,
мертвые веки затрепетали
и из могилы проглянул он.

"Нет мне ни тени! И гнить не манит.
Как хорошо, что ты тут, мой друг!
А где я, если во мне меня нет?
Одно и есть мне, что мой недуг.

Скажи, склоняясь по-над могилой,
тому, кто в гробе сошел с глаза,
куда девалось то, что мной было
и мной не будет уж никогда?"

С молчаньем вместе, что было с нею,
упала мертвой на желт песок.
Верно любила она сильнее,
чем он об этом подумать мог.

В углу упала обсенелом,
чтобы милого не покидать,
чтобы милому всем своим телом
ответ единый навеки дать.

ПАНТЕРА

Не гнетет меня зависть кровавая зорь,
гнев жары золотистой меня не прохватит.
По спине моей пятнами черный узор,
и ее противосолнечно он полосатит.

Разодрать на куски бы я солнце хотела.
По земле, не по небу, несется мой рев,
и крадусь я к тебе из-за тайных миров.
Расплясалось вокруг смерти пятнистое тело.

Дай тебя подержать в золотящихся лапах,
немочь жизни твоей вместе с мясом глотая!
Дай почувать пред смертью безумия запах,
когда солнцу на-зло я сама золотая.

В виноградные сумерки, в пурпур вина
проводи меня в розовенчанный дворец,
в гроби мрамора, где словно хохот, багрец
волны жизни волнует до самого дна.

Между девушек только одна лишь в печали
и гадает по тени о темной судьбе.
Ее тело, как сон, белый сон о себе,
и во сне она ждет, чтобы пальцем позвали.

Кинь ее мне на миг, пусть она замграет,
под перином брюха от слабости тая,
чтоб учуяла я, как любовь умирает,
когда солнцу на-зло я сама золотая.

Сотворивший меня ради ласки и крови
дал мне гибкую силу на смерть наскануть,
выгнул когти — как будто тоска наготове —
и своим же рычаньем напружил мне грудь.

СЕРЕБРЕНЬ

Сменить на дрожь ночную тьмину
ждет полусонная роса.
Дуб верует дикарски Тьмину,
в его наплыв на небеса.

Свет умирает в дебрях бора,
впоевалку по траве окрест.
Ночь запоздала у забора
сребристого грядущим звезд.

Где бездорожье? Где дорога?
Посмертный вздох и боль навзрыд?
Иль ни дыханья нет, ни Бога,
а месяц и ни в чем горит?

Он деревенька непростая,
где копит тишь брат Серебрень,
себя же сном перерастая,
и в серебре он всякий день.

Завялый он Существователь!
Поэт! Вины и мглы знаток.
Беснутье друг и снам ласкатель,
певучий вечности поток.

В сеть рифм к нему уловом мыши
сребристые, а он, паук,
бросает сор сребристой тиши
на лунный луг или пралуг.

"Смерть! — молвит — Тьма нас слышит свыше.
Оставь же смех свой показной!"
И сыплет мусор синей тиши
на лунный эной или празной.

"Я мглой дышу, ее колыша,
чтоб с божьей выгной охрометь."
И сыплет сор златистой тиши
на медь луны иль на прамедь.

А там долины и косогоров
кривые синие устои
и словно сцена без актеров —
пространств отчаянье пустое.

И шепчет он ничтожной дали:
"Свет не единым мраком сыт.
Несчастье нас всех разит.
Так будет прок от серебра ли?"

Поки со смертью в малость мрака
течет мой помысл, как слеза,
пусть звездной пылью зодиака
ничто запорошит глаза!"

Так шепчет он. Ничто разбухло,
блестя когтями из глубин...
Еще одна звезда потухла,
и умер Бог еще один.

СНЕЖНЫЙ ИДОЛ

Там, где леса от стужи слепли,
где ворон — сторож тьмы лесной,
был кем-то из снега слеплен
и стал ничем и белизной.

Надели шапку шутки ради,
приткнули нищенский батог
и, в неживые очи глядя,
заржали: Поживи, браток!

И жил он, в жалком жил обличьи,
а вокруг, подняв переполох,
ему молилось племя птичье,
и понял я, что это — Бог.

Очами, точно заклинаньем,
бор чаровал он ледяной
и искушал меня незнаньем
того во мне, что было мной.

Болибы морозной бог тяжелый,
сквозь бельма льдистой тишины,
глядел он, идол, в даль и в доли,
как в возносящиеся сны.

Когда ж весной его основа
ничем блеснула под огнем,
в него уверовал я снова
и понял все, что было в нем.

ДАВИШКО

Шел по свету Байдала,
как весна пригревала,
за собой вел кобылу, за кобылой вола,
и туда и сюда с ним эта двоица шла.

Не всхотелось Байдале
по жаре брести дале,
покосился и видит бугорок моховой.
И мягка ли постель, попытал он ногой.

Лег на мох что есть силы
меж вола и кобылы,
набекрень скривил губы, сплелся — словно всплеснул
и зевнул во все небо, а на том и заснул.

До сих пор не узнали,
что же снилось Байдале.
Но уж знаем, что гадя ту душистую ширь,
выполз склизкий Давишко, как без крыл нетопырь.

Лабьи губы и очи —
и такой жить охочий! —
Пялит гузно, что клуша, когда яйца кладет.
Цыц, язык непотребный — от девиц попадет!

Хвост - ремень невеликий,
а подхвостье - из лыка.
Сел, как ворон на зливье, он к Байдале на грудь
и давил ему душу, аж немощь продохнуть.

В теле меркло, ворчалось!
Что же случилось, Байдала?
Ус раздул он со страху, спит во всю-то тоску.
Вы послушайте, вербы, какво мужику!

И во сне у Байдалы
Полдуши исхудало.
Но с морозкой недолго он возился и вмиг
фыркинул, брови наморщил и проснулся мужик.

Молвил кляче он грубо:
"Что развесила губы?"
Надо было Давилку что есть силы лягнуть,
чтобы в поле покой мой не успел он вспугнуть."

На вола напустился:
"Что же ты залерился?
Надо было Давилку на рожища поднять,
когда гад свою душу мне хотел променять."

Да и Богу попало:
"Аль тебе было мало,
что твои мы творенья - я и кляча и вол?
Так еще и Давилку ты на свет произвел!"

СВИДРЫГА И МИДРЫГА

То не кони понеслися вихрем над кулигой -
расплясались два пропойцы Свидрыга с Мидрыгой.

Ток под билем так не стонет, когда бьют цепями,
как лужок молотят пятки, точно кулаками.

Тут и шасть к ним Полудница, бледная девица,
и Свиdryга, и Мидрыга, и танцу дивится.

И в глаза им, словно в ясли, глядит как шальная:
"С кем из вас пройдуся в плясе - иль на двух одна я?"

"Я с тобой, - сказал Свиdryга, - пойду вкруговую."
А Мидрыга рукой машет: "Пожди другую!"

Всяк, за ручку ухватиши, к себе девку тянет:
"Тебя, девонька скупенька, на нас двоих станет."

А она им бездыханно прямо в губы дышет,
без смеху в глаза смеется и без жару пышет.

Пополоам она распалась - стались из девицы
девка слева, девка справа, - две сродных сестрицы.

"Твоего двойного тела, видишь, нам хватило!
С нами, с подными, пляши-ка, пока вволю пыла!

По четыре у единой девки рук да ляжек!
Мы твоим ущемся срамом вдрызг, аж с ног поляжем!"

Точно в драку, в пляс пустились два гуляки бравых -
гуд пошел по всей кулиге, суматоха в травах.

Пляшет с левою Мидрыга, а Свиdryга - с правой.
Первый поднял пыль подметкой, а второй - холявой.

Боком, скоком, поворотом - душу нараспашку!
Потоптали и ромашку, и чебрец, и кашку.

"Сгинь живьем!" - орет Свиdryга, а Мидрыга: "К лиху!"
До упаду пляшут оба, эх, без передыху!

Увидали - помирает в танце плясавица.
В одночасье в двух обличьях кончилась девица.

"Не в особицу мы тело скороним такое:
ведь вдвойне оно плясало и умерло вдвое.

Похороним на погосте, поросшем отавой
и отслужим панихиду что левой, что правой!"

В двух гробах похоронили, но в одной могиле.
Разом гуд пошел подземный, гробы дробь забили.

Пляжут, тела понаевшись, веселятся, сыты -
крышки накось, крышки набок, пасти - приоткрыты!

Пляжут, кружатся и скачут, и топочут тяжко -
боком, сноком с поворотом - доски нараснашку!

Ажно смерть, горя лихо, - в пляс, треща костями!
Аж нутро погоста в страхе трясет потрохами!

Аж в себе же заблудился хоровод безумный,
ажно стало под землею весело и шумно!

У Свидрыги и Мидрыги разум помутило,
точно мельничным крылом их вертело-крутило.

То, что марилось туманно, стало вовсе слепо.
Не видать, где будет право, а где будет лево.

Где гроб правый, где гроб левый, - никак не рассудят,
и кому какая девка после смерти будет?

И в глазах их ошалелых все замельтенило.
Кто Свидрыга, кто Мидрыга - память им отшибло.

Только черное кишенье - прорву смерти видят.
"Люди добрые, гостуйте, - здесь вас не обидят!"

Будет каждому по гробу вам, гулякам бравым.
В одном вечность левым глазом, в другом косит правым."

И над бездной на колени пали, еле живы,
заплясали на коленях прямо у обрыва.

Танцевали на карачках, ладом и меладом,
и ползком, и с перевертом, и порозь, и рядом.

Сдуло их как вихрем стружки во два темных гроба,
В прорву смерти полетели вверх ногами оба.

ПАНА АНА

Был у краковянки
парень деревянный.

Известная песня

Как надут туманы
и за горы день снижается,
тут-то пана Анна
на всю ночь наряжается.

А сама немая,
и из мрака чернокишного
парня вынимает
взглядом вовсе неподвижного.

Вот он, деревянный,
злой бездум и без прозванья!
Но волшебю странной
входит он в существованье.

Дивь его тревожит
при его нечеловечности.
Пана Анна может
запылать к соблазну вечности.

Днем его нет с ней,
ночь же бывает вместе, и
сладки твердость шеи,
мертвых рук и губ намешенье.

"Богом я забыта
в снах с предсмертной поволокою.
Никого! Что ж ты-то
не голубишь одинокою?"

Он ее бездушно
приголубит и надвинется,
а она послушно

полным сном и опрокинется!

Пятёрнею дождей
рвет он шелковые волосы
в клочья и к тому же
плещит груди в кровь и в полосы.

А она погрязла
в муке, превращенной в счастье,
и всем болям назло
кровь и мгла ей — как причастие.

Отрахом воспаленным
дивно в эту полночь дышится,
и виденьем сонным,
и вся в росах, смерть колышется.

А потом немота
с длинными междусобытиями.
И не дышит кто-то,
лишь бы где-то как-то быть ему.

День заря означает
среди стекла еще туманного.
Панна Анна прячет
наладугу деревянного.

Роза к черной пали
безуханная приколется.
По роялю в дали
пальцы — словно за околицу.

Звук за звуком тает.
В сундуке немое чучело.
Кто же угадает,
с кем она ту ночь измучила.